

Мама
-Вы, наверняка, помните стихотворение Бродского: "Воротишься на родину. Ну что ж..."

— Ну, конечно: "Гляди вокруг, кому еще ты нужен... Воротишься, купи себе на ужин какого-нибудь сладкого вина... во всем твоя, одна твоя вина, и хорошо. Спасибо. Слава Богу..." Нет, это совсем не то, что я чувствую сейчас. Рига, как была всегда для меня, так и осталась чисто географической "точкой". Мне даже стыдно стало — я прилетел, меня встретили, спрашивают: ну что ты, как себя чувствуешь? А я — как будто приехал в Осло или в Стокгольм... Естественно, когда пришел к маме на кладбище, у меня внутри все так жалось... Но это место на кладбище для меня существует абсолютно обособленно. Наверное, я человек без родины — в вашем понимании. И потом — наша семья здесь никогда себя дома не чувствовала. По вполне понятным причинам.

— То есть?
— Ну нас же здесь воспринимали вроде как оккупантов. Отец был военный чиновник, подполковник, его сюда направили, сам бы он никогда не приехал.
— Кстати, откуда? Расскажите, пожалуйста, историю вашей семьи.

— Мама происходила из крестьян, она окончила только начальную школу. Вышла замуж, у нее родился сын Владимир, мой сводный брат. Муж ее погиб на фронте. А с отцом она познакомилась в своем родном селе Кстово, что недалеко от Нижнего Новгорода, — там располагалась его часть. Отца вскоре направили на работу в Ригу. Они поселились в коммунальной квартире — тогда, казалось, огромной, где жили, наверное, пять семей. Я родился в сорок восьмом году, у матери уже был маленький ребенок, она не могла работать — ухаживала за детьми, готовила, бегала по хозяйству, язык она не выучила, конечно. Она еще была такой... очень тихой. Были у нее две-три подружки русские, одна — очень интересная женщина, бывшая балерина Большого театра Евгения Мухотова. Думаю, Мухотова и привела ее первый раз в театр. Потом мать стала ходить одна, в основном, правда, в оперу. Или в латышскую драму, тогда и меня брала с собой, чтобы я переводил.

— Вам удалось как-то объяснить себе ее самоубийство?
— Нет. Для меня это до сих пор загадка. Официальная версия врачей была: "Внезапное помешательство".
— У Бродского тема возвращения часто разыграна как возвращение Улисса на родину, где его никто не узнает. Как вы чувствуете себя здесь незнакомым?

— Замечательно! Это самое удивительное и самое прелестное мое ощущение здесь. Мы болтаемся с моей семьей по маленьким ресторанам, по улицам старого города, и никто даже ухом не ведет. Что очень упрощает ситуацию. Мои спектакли, конечно, посвящены маме, но в общем я приехал только для того, чтобы навестить ее могилу, а все не затем, чтобы танцевать. Просто решил, что это будет естественным шагом, потому что именно мать привела меня в этот театр. И я привез моих детей, которые уже что-то соображают, — сыну восемь, а дочке шестнадцать лет. Младших — им три и пять — оставил дома, им еще рано все это. То, что, надеюсь, останется теперь со старшими, — этот приезд, эта связь с прошлым и эта тяга моей матери к искусству, которое было для нее чем-то недостижимым.

— Где-то вы сказали, что мама была вашей самой любимой женщиной...

— Она невероятно красивая была женщина и удивительно нежный человек. И, конечно, была мне ближе, чем отец. Отец был жесткий и очень нервный. Я пару раз приезжал в Ригу из Ленинграда, он был опять женат, мы сидели и курили, уже взрослые люди, и разговаривали, и я никак не мог проникнуть в его мысли. Наши отношения были довольно поверхностные — никогда никакой открытой ненависти или любви... С матерью все было иначе: я испытывал к ней какую-то, быть может, неосознанную нежность. И потом я никогда ее не осуждал. Как говорят, это грех — самому уйти. Бог накажет...

— Но, возможно, хотя бы само понятие "вернуться на родину" имеет для вас какое-то значение?

— Применительно к себе — нет. Когда к тебе обращаются: "Эй, русский...", неважно, сколько тебе лет, это откладывается. Здесь написали в газете, будто я сказал, что антисемитизма или этнических трений во времена моего детства в Латвии не было. Ерунда, я говорил про театр! Тангиева — тогдашний главный балетмейстер — была очень сильным человеком, и она сглаживала все это. Если хоть кто-то что-то себе позволял, она моментально затыкала этому человеку рот. А так — конечно, были этнические трения! Мой отец сам был первым антисемитом. И, естественно, если что-то у нас не получалось, во всем оказывались виноваты евреи и латыши. Надо же на кого-то свалить, а на Коммунистическую партию свалить он не мог — тоже был коммунистом.

— А вы продолжаете ощущать себя русским?

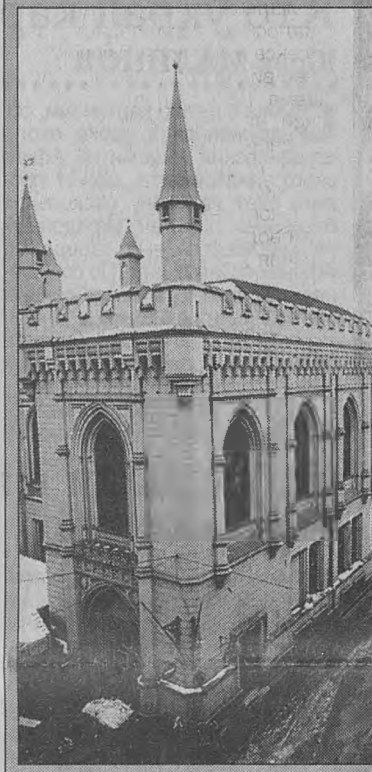
— Ну, конечно. Я обожаю этот язык. Считаю, что обязан ему своим становлением... Я довольно плохо учился, возможно, был каким-то "замедленным", плохо запоминал. Когда меня только приняли в Вагановское училище,

я понял, что даже говорю не на том языке, на котором все остальные: половину слов по-латышски, половину по-русски. Мне пришлось заново учиться русскому языку. Я много читал, каждый вечер бежал в драматический театр или филармонию, потому что у меня был комплекс, что я провинциал, рижанин. Я даже не знал тогда, станет Ленинград по-настоящему моим городом или нет. Если ты там не родился, то так и останешься приезжим. Здесь я прожил шестнадцать лет, в России — десять, и двадцать четыре года в Америке. Конечно, мой дом — это Америка. Там моя семья, дети...

Бродский
-Можно ли провести параллель между местом захоронения вашей матери и местом за-

Одно-единственное интервью Михаил Барышников, категорически отказавшийся от общения с прессой, в Риге все-таки дал. Полностью оно выходит в журнале "Rigas Laiks". Предлагаем вашему вниманию сокращенный вариант в авторизованном переводе.

Неузнанный Барышников



хоронения Иосифа Бродского? Венеция тоже не была для него родным городом...

— Он сделал мне очень интересную надпись на своей книжке о Венеции — "Watermarks". Я никогда не справляю свой день рождения, но он все равно всегда приходил. Мой день рождения — 27 января. И как раз в начале января вышла эта книга, и он написал мне: "Портрет Венеции зимой, где мерзнут птички в нише, в день января двадцать седьмой дарю любезной Мишель..." Он меня звал не Мишей, а — Мишель или Мишель, а он был Жозеф. Он — кот, я — мыш. Так мы с ним играли. "Прости за инглиш, но рука, как и нога для танца, дается, чтоб издали канать за иностранца".

Он обожал Венецию как квинтэссенцию космополитизма. Вообще обожал Италию — с чисто исторической точки зрения. "Куда вы опять — в Италию, ну что вам Италия?" — "Ну как вам сказать, Италия в декабре — это как плавающая Грета Гарбо".

Последний раз, будучи в Венеции, он написал стихотворение про колокола Сан-Микеле. Я чувствую, что скоро разгадаю, что кроется за этим звоном. Это ответ, почему он все-таки был перезахоронен в Венеции.

— В стихотворении Бродского, которое посвящено вам, есть строки: "Погода там лучше, когда нам худо..."

— Его часто, так же, как и меня, много людей зазывало "туда". Но кто бы ни приезжал "оттуда", судя по рассказам, всегда выходило, что погода "там" действительно лучше, когда нам худо... Как-то мы вместе провели несколько недель в Швеции. (Бродский часто приезжал туда к своему издателю и жил на маленькой дачке на берегу озера, минутах в тридцати-сорока от Стокгольма). Однажды решили дойти до порта, увидели пароход, который ходит между Стокгольмом и Петербургом. Он спросил: "У тебя паспорт с собой?" Улыбнулись и пошли обратно... А на следующее утро звонит мне и говорит: "Мышь, спускайся. Будешь читать". То стихотворение.

— Московская поэтесса Ольга Седакова задается вопросом, в чем основа свободы, "самостояния" Бродского, его отстраненности. Что позволяло ему ощущать себя настолько независимым, что он обо всем мог писать так, как будто это его не касается, как с Луны. И отвечает — "переживание смерти".

— О смерти он говорил часто. Скорее, разбирая работы других — когда писал эссе о Рильке, или о Мандельштаме, или Цветаевой... Смерть вторгалась в его жизнь и в связи с чисто семейными обстоятельствами — он рвался на похороны матери, рвался на похороны отца. Он рвался на

встречу с ушедшими. Но когда ему сказали: "Нет!", он ответил: "Нет — это уже навсегда". Он очень боялся смерти. Потому что, зная свою сердечную кондицию, жил на borrowed time, что называется (время, отпущенное в долг). Ему нужно было срочно делать третью операцию. И он решился на нее. Он хотел жить, у него был маленький ребенок, которого он обожал, молодая жена... Он боялся их оставить — хватит ли им денег для нормального существования, как они будут жить, если... И он мучительно боялся любой боли. Смертельно боялся ходить к зубному врачу, и ему сделали вставные челюсти, потому что он испортил все зубы, когда жил еще "там". С другой стороны, губил себя беспрестанным куре-

релистыванием книжки — как будто это воспоминания. Допускаете ли вы, что что-то, что определяет нашу жизнь сегодня, на самом деле произошло с нами в далеком детстве или даже в другой жизни?

— Я думаю, память человеческого тела — это калейдоскоп каких-то мгновений, отражений. Никогда не забуду — как-то на улице я видел человека, которому трамвай отрезало ногу. Он лежал прямо передо мной, наверное, в десяти метрах. Я помню чисто физическое ощущение, которое испытывал, глядя на человека без ноги. А было мне лет пять или шесть. Такие или, напротив, совсем иные — прекрасные — моменты не только отражаются в памяти, но и в физиологии. Наша

вины? — По правде говоря, нет.
— И вам быстро удалось войти в новую жизнь? Если не ошибаюсь, вы не говорили по-английски?

— Нет, только по-французски. По-английски гораздо хуже, чем сейчас. Но в зале все очень просто — мы все говорили на одном языке: oh, yes, yes! Oh, no! (смеется). К тому же моя первая партнерша на Западе была Наталия Макарова, и она меня ввела в круг франкоговорящих или говорящих что-то по-русски. Так что с этим никаких проблем не было. Правда, были ночи, когда я очень тосковал по людям, к которым уже не мог пойти в гости.

— Вам, наверняка, приходилось отвечать на вопрос, почему вы оставили классический балет ради современного танца. Мне представляется, что "фигуры" классического балета устремлены как бы к какому-то воображаемому небу, а современный танец старается из этой застывшей формы вырваться и понять себя — посредством себя же.

— Для меня современный танец — искусство, гораздо более приземленное, более откровенное, без манерности. Просто разговор с собеседником, разговор с другом, прочтение хореографического текста без особой экзальтации. Это искусство демократическое. Простота, минимализм хореографического языка позволяют сосредоточиться на том, что у человека на сердце и в голове.
— Если допустить, что современный стих стремится к упорядочению многословности, то в конце такого стремления находится тишина. Может быть, в "конце" современного танца находится неподвижность?

— Я бы сказал — да. Но не обязательно. Минимализм проявления. Как в музыке — Стив Райх или Филип Гласс. Это не каждому дано. И если кто-то влюблен в стиль девятнадцатого века, классического, романтического



Фото А. КРИВИНЬША



нием. И едой — таким гурманством. Зная, что вгоняет себя в могилу. Это — если говорить о чисто физиологическом страхе смерти, а не о метафизическом отношении к ней. У него было и то, и другое.

— Вы как-то сказали, что у вас прямо-таки патологическое стремление быть независимым. Какова цена вашей независимости?

— Бродский, когда писал стихи, внутренне был независим, потому что писал стихи для стихов, которые будут жить, а не по заказу. А зарабатывал — писал эссе или какие-нибудь рецензии на книги или выступал. Но, с его точки зрения, всегда был независим.

Для танцовщика независимость — нечто иное. Скажем, я танцую два спектакля в Рижской опере. Но чтобы станцевать эти два спектакля, надо привезти как минимум пятнадцать человек. На моих условиях. Потому что я так привык. Надо взять на себя эту ответственность — быть независимым. И вот это и было самым трудным. Но десять лет назад я решил, что это единственная возможность нормально жить — быть независимым от дотаций, от спонсоров и рассчитывать только на кассовый сбор.

Таракан
-Хореограф Мэг Стюарт однажды сравнила один ваш номер с пе-

манера ходить, манера смотреть — это отложение впечатлений.

— В вашем решении остаться на Западе не было ничего импульсивного?

— Ну, немножко мелодраматично это все-таки было. Как в плохом романе. В тот день после спектакля я раздавал автографы, а мои канадские друзья ждали несколькими кварталами дальше. Желаящих было довольно много, я подписался раз десять и сказал: "Извините, я должен на минутку уйти, но я вернусь". И пошел. Но они пошли за мной. Я прибавил шагу, наконец, побежал, и они бежали за мной. Это было так комично! Я начал смеяться, остановился и еще несколько раз подписался. А если серьезно — меня очень волновала судьба моей труппы. Я очень уважал свою тогдашнюю партнершу Ирину Колпакову — она, кстати, тоже сейчас живет в Штатах, — но я не имел возможности и не посмел сказать ей. Впрочем, интуитивно я понимал, что на допросе ей будет легче, если она на самом деле останется в неведении.

— Все-таки — что вы почувствовали, что сделали после того, как решились на этот шаг?

— Написал. Мы поехали на одну ферму, и я нажрался вдребезги. Мешал разные напитки, не шел спать до пяти-шести утра... А на следующее утро уже начал действовать распад.

— Вы не испытывали чувства

балета, конечно, трудно понять, почему это не прыгают вверх и не делают пируэтов. Просто что-то делается в тишине в течение двадцати минут. Позы почти не меняются. Но я считаю, что это интересно, и вроде бы и в Америке, и в Европе есть люди, которым это интересно тоже.

— От Принца "лебедей" к насектому Кафки...

— К таракану. Но я и сам всегда был таким маленьким тараканом... И когда дорос до принца, я понял, что там, в его царстве, довольно скучно все-таки, а идти обратно к таракану — гораздо интереснее. Примерно лет до сорока ты копишь иллюзии и стремишься к вершине... И это вроде ты станцевал, и с этим поработал... А в конце своей жизни ты идешь под гору, вновь в тот минимализм, с которого начал, к этим движениям тараканьим... Ты к этому возвращаешься. Продолжать танцевать "Жизель"? Ну что ж, я бы мог. Я в такой форме, что мог бы совершенно спокойно завтра станцевать "Жизель", ну не завтра — через неделю. Но для меня это будет совершенно бессмысленный шаг, хотя спектакль может быть довольно интересным. Старый ловелас — пятидесяти лет — выходит в трико... Забавно?

Беседу вели
Иева ЛЕШИНСКА,
Улдис ТИРОНС

РИГА